В.В. Розанов

Еще доброе дело на Руси

По изданию: Собрание сочинений. Том 28. Эстетическое понимание истории. Москва, 2009 г.

Впервые опубликовано в журнале «Русское Обозрение» № 4, 1896 г. под одноименным названием.

Николай Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. Книга десятая. СПб., 1896.

Только что вышедший X том «Жизни и трудов М. П. Погодина» принес, в своем предисловии, странное известие; с тем вместе — оно так радостно, что вызывает невольное желание разделить его с кругом читателей более обширным, нежели сколько может иметь их монументальный труд нашего ученого.

Уже несколько времени среди людей, следивших за выходом все новых и новых томов этого труда, ходил тревожный слух, что самоотверженный автор его — лицо столь же замечательное, как необычаен и труд его в нашей литературе, истощив все силы на его писание и все материальные средства на издание, хочет прервать так прекрасно начатую и уже доведенную до половины историю нашего образованного общества за этот век на кончине императора Николая І. Слух этот, перейдя в одну из рецензий, написанную по поводу выхода ІХ тома «Жизни и трудов М. П. Погодина», имел неожиданные последствия. Нужда ученого нашла себе отклик из вечно юного, вечно благородного, не стареющегося в веках сердца России — Москвы. Но пусть говорит автор:

«В ноябре месяце 1895 года, по возвращении моем из Пензы, посетил меня господин московский присяжный поверенный Михаил Георгиевич Бажанов, дотоле мне вовсе незнакомый. Он сообщил, что доверитель его, имя коего отказался назвать, сочувствуя направлению моего сочинения «Жизнь и труды М. П. Погодина» и узнав из одной статьи, что я не имею средств на продолжение издания моего сочинения, выразил желание прийти мне на помощь своими денежными средствами.

Понятно, что я был изумлен этою неожиданностью. М. Г. Бажанов, заметив это, поспешил сказать: *Не удивляйтесь, в Москве еще далеко не*

перевелись добрые люди и патриоты.

И вот на другой день памяти Святителя и Чудотворца Николая, который, как поет Церковь, *миру всему источает многоценные милости миро и неисчерпаемое чудес море*, я получил из Москвы от М. Г. Бажанова следующее письмо:

«Милостивый государь, Николай Платонович! Прежде всего, позвольте вам засвидетельствовать мое глубочайшее почтение и уважение. Затем позвольте мне снять инкогнито с того лица, по поручению которого я имел удовольствие, 25 ноября, беседовать с вами в Петербурге. Разумеется, делаю я это с его разрешения, согласно вашему желанию знать лицо, идущее на помощь изданию трудов ваших о жизни М. П. Погодина. Я был у вас, глубокоуважаемый Николай Платонович, по поручению потомственного почетного гражданина Александра Николаевича... весьма почтенного и уважаемого, быешего железнодорожного деятеля и коммерсанта в Москве, а ныне слепого старика, которому теперь шестьдесят четыре года от роду, и вот уже шестнадцать лет лишившегося зрения и страдающего тяжелыми недугами, который теперь, вдали от мирских дел, в уединении и тиши проводит время в религиозно-философских мышлениях, и насколько его средства позволяют, всюду спешит с посильной помощью к истинно нуждающимся и обремененным. Его заботами и средствами, для религиозно-нравственного просвещения, вновь устроен и открыт, например, женский Рдейский Успенский монастырь, в Новгородской губернии. Но Александр Николаевич не чужд и просвещения светского. Вышедший из коренной русской купеческой семьи и вращаясь постоянно в кругу того времени выдающихся интеллигентных деятелей, он понимает всю благодетельную силу просвещения. И, несмотря на то, что, вследствие слепоты его, вот уже шестнадцать лет ему читает его секретарь, он интересуется в литературе всем, что дорого для блага и просвещения России.

И вот, своим сильным и чутким от природы умом, он понял, что ваш труд о жизни и деятельности М. П. Погодина не есть только труд ординарный, с слабыми штрихами летопись, но труд весьма капитальный, который должен иметь огромное влияние на настоящее и будущее молодого поколения, так как личность М. П. Погодина, вышедшего из простого народа, с лицами его окружавшими — это Русский народ, на котором

держится вся сила и величие России, по верованию москвича — сила, зиждущаяся на православной религии и преданности Царю и Отечеству. К этой плеяде людей жизни М. П. Погодина принадлежал и Александр Николаевич, лично знавший покойного Погодина, который часто бывал в его семье так же, как и в семье Кокорева и других, где М. П. Погодин, со свойственною ему задушевностью, обсуждал все вопросы, составлявшие тогда злобу дня.

Узнавши из рецензии на вашу книгу, что издание книги «Жизнь и труды М. П. Погодина» должно приостановиться по неимению у вас средств, Александр Николаевич просил меня, многоуважаемый Николай Платонович, сообщить вам, что он обеспечивает вам стоимость печатания X тома о жизни М. П. Погодина, то есть типографский расход за то количество экземпляров, которое вы обыкновенно печатаете. Причем просил меня присовокупить, что если Господь продлит дни его, то он на тех же основаниях обеспечивает вам издание и XI тома, если таковой выйдет от вас.

Почему я имею честь просить вас, по отпечатании X тома, благоволите сообщить мне и Александру Николаевичу подробный счет типографии, вместе с книгой, для уплаты по счету. Пользуясь, и проч., *М. Бажанов*.

P. S. Александру Николаевичу желательно было бы, насколько возможно, поскорее начать печатать и XI том».

Долг признательности, — заключает г. Барсуков, — обязывает меня напечатать почтенное письмо М. Г. Бажанова вместо предисловия в настоящей книге. Благодарные же чувства мои к доброхотному жертвователю усугубляются утешением, что рука помощи доброго человека (курсивы здесь и далее автора) простерлась мне именно из Москвы»...

Вечная благодарность г. Барсукову за опубликование этого частного и даже несколько интимного письма. Исторически знаменательно, ввиду косого света, брошенного литературою нашею в последние десятилетия на сословие старого купечества, свидетельство, в этом письме содержащееся. Об этом, уже шестнадцать лет слепом, старике, в тиши безмолвия ищущем, кому бы помочь, основывающем монастырскую обитель и неустанно следящем за успехами «благодетельного просвещения» в родной земле — нельзя читать без самого сильного волнения. Понятно чувство, побудившее благодарного автора раскрыть имя жертвователя; не менее понятно, однако, и первое движение самого жертвователя — остаться не названным, которое мы здесь исполняем.

Не нужно вовсе, чтобы это имя разносилось по стогнам литературы, чтоб оно «сохранялось» в памяти людской: оно — в памяти Божией, и кто знает таинства человеческого сердца, тот знает ту длительную, светлую, совершенно особенную радость, которая наполняет это сердце всякий раз, когда оно уходит от человеческих похвал, затаивается в благом своем деле.

О М. П. Погодине в только что опубликованных мемуарах знаменитого историка С. М. Соловьёва — ученика Погодина — содержится очень жесткий отзыв (см. «Русский Вестник» за 1896, февраль и март); без сомнения, этот отзыв стал уже известен жертвователю, следящему за всем в литературе, что появляется в ней имеющего отношения к былым или же текущим умственным интересам России. Да не смущается, однако, сердце его этим отзывом о бывшем и его друге. М. П. Погодин был человек истинно замечательный; нет (по всему вероятию) ложного в показаниях Соловьёва, есть ужасная ошибка односторонности, непонимания; все принимая в этих показаниях (хотя они голословны, то есть не опираются на факты), сохраняешь, однако, полную свободу сказать, что Погодин был натура гораздо более замечательная, несравненно более богатая, обильнее наделенная дарами ума и сердца, чем сам покойный Соловьёв. И вот доказательство: Соловьёв не оставил после себя, несмотря на 30-летнее преподавание, ни одного истинно замечательного ученика; то есть в своих лекциях он не умел передать понимания, не успел зародить любви к родной истории ни в одном ученике; Погодин — именно он — дал всю плеяду светил нашей исторической науки: самого С. М. Соловьёва, незабвенных Калачева и Кавелина, Беляева, Бычкова, косвенным образом — Бестужева-Рюмина. Это уже не обвиняющее мнение, это — непоколебимый ϕ ак m^1 .

¹ В труде г. Барсукова, как в некотором tesaurus'е нашей минувшей духовной жизни, есть данные, в частности, и для установления правильной точки зрения на мемуары С. М. Соловьёва. См. в книге X, стр. 127, письмо Ф. И. Буслаева о проф. Давыдове, и сравни мочку зрения Буслаева, его способ отношения к этому ученому — с отношением и точкою зрения Соловьёва. Далее, в книге IX, стр. 148, см. свидетельство о Погодине, как преподавателе, проф. К. Н. Бестужева-Рюмина, и сравни это свидетельство с отзывом о Погодине, тоже как о преподавателе, в мемуарах Соловьёва. Наконец, на 138 стр. того же IX тома можно найти иллюстрацию отношений к русской истории: Соловьёва — отношения теоретического и книжного, и Погодина — отношения живого, т. е. более глубокого и истинного. Для Соловьёва, напр., «не было монгольского периода в русской истории», потому что краткие летописные отметки не давали ему материала для особой главы, которую он мог бы озаглавить: «Следствия монгольского ига». Погодин, с более живым воображением, понимал, что во время монгольского ига русским людям было не

Благородный историк его жизни, сверх пяти эпиграфов, которыми он с таким вкусом украсил заглавную страницу своего труда, приписал на последнем X томе еще шестой: «Пою – дондеже есмь...» — Живо выразилось в этом эпиграфе движение благодарного сердца: готовность

до летописания, что потому именно летописи и были кратки, что действительность была слишком обильна страданием. И он с изумлением ответил своему уже знаменитому тогда, но как-то недогадливому — ученику: «Легко нам сказать: не было такого периода, но каково было нашим предкам пережить это иго». В этом теоретически-книжном утверждении Соловьёва, и в исполненном живого протеста ответе Погодина сказалась вся разница между двумя учеными. Для Соловьёва русская история была предмет 29-ти томного изображения, достаточный повод для написания этого монументального труда, и в самом заглавии его нам слышится отзвук «Histoire de France depuis de temps les plus recules» <«История Франции времен давно минувших» (фр.)>, напр., Анри Мартена и других; для Погодина — все русские, жившие и умершие, были «соотчичи», и сколько бы критика, с ужимками мещанства, ни издевалась над «необразованностью» его «Русской истории до монгольского ига» и других трудов, эти труды суть звучащие в наших ушах удары заступа о дорогие могилы; хороши или плохи эти удары — но они суть плод живого исторического чувства, суть плод неподдельной любви к своему народу, к земле своей. Нужно читать, у Барсукова, как Погодин сравнивал, по значительности, с открытием Ловеррье новой планеты Нептуна свое открытие, — имел ли спутников Дмитрий Донской, сопровождавших этого князя в каком-то походе, чтобы видеть, до чего драгоценна ему была всякая решительно деталь русской истории, — совершенно так, как нам драгоценна каждая вещь, каждая ненужная для всякого другого тряпка нашей матери, которая только что была, мы слышали ее голос, видели ее ласки, и теперь она безмолвно лежит в гробу. Это присутствие в огромной памяти Погодина в совершенно живом, не увядшем виде всей громады русской истории, присутствие ее как толпы определенных людей во всей их конкретности, страдавших, заблуждавшихся, воинствующих, молящихся, мирно возделывающих поля и их обороняющих, и делало его единственным в своем роде живым историком, с которым всякий приходящий в соприкосновение заражался невольно духом историчности, духом исторических изысканий, этим священным гробокопательством, исполненным любви и понимания. Позднее ученики могли восстать на учителя, как они действительно и восстали, — это уже не изменило дела: они восстали на него теми самыми силами, тем самым духом, какой получили от него. И для позднего мыслителя не может быть сомнения, что они все были меньше его, не так значительны в богатстве непосредственных даров, не так плодоносны, гораздо более искусственны, и, так сказать, сделаны школою, а не рождены землею. Одно только выражение, сказанное устно Погодиным и благодарно переданное потомству проф. Бестужевым-Рюминым (Барсуков, т. ІХ, стр. 148), содержит в себе целую историческую школу (антиюридическую, как назвали бы мы ее). Это — целый поток мысли и света, брошенный в одном, чисто русском по меткости слове на родную историю. Но Погодин не умел ничего развить, в нем именно не было метода, школы, мастерства, логической обработки и словесного выражения. Он был подобен почве, рождающей по местам драгоценные алмазы, которые, однако, представляются в грязном, грубом, нисколько не привлекательном виде: позднейшие ювелиры придают им блеск и красоту огней, но, воздавая им должное, мы не должны отнимать принадлежащего и у почвы. Самое обнародование мемуаров С. М. Соловьёва есть прежде всего ошибка против памяти знаменитого историка, который бы никогда их не напечатал (ведь не напечатай же!) при жизни, не выбросив одного, не оговорив другого, не смягчив всего изложения.

трудиться — воистину «церкви и отечеству на пользу», пока не оставят его силы. Все читатели его книги, вся образованная, *понимающая* Россия уже с спокойствием будет теперь ожидать продолжения его труда. О, как хотелось бы видеть этот труд на полке у каждого студента, особенно Московского университета: тут рассказана жизнь их умственного отечества, рассказана с такою не только верностью факту, но и благоговейною любовью к дням прошлым этого отечества, то есть с тем чувством, не пробудив которого в себе напрасно выходить на жизненный труд, напрасно становиться сеятелем в родной земле: эта земля не примет ей не нужных, не от ее духа выращенных семян...

Несколько дополнительных слов невольно хочется сказать о предметах, сродных с тем, какой побудил нас взяться за перо. Вся Россия не только с живою радостью, но и с удивлением следит за обильным током пожертвований, стекающихся в последние годы отовсюду к Московскому университету. Целый городок — новые клиники на Девичьем Поле — возник без копейки, пожертвованной от казны, исключительно на частные средства; только что принесено газетами («Русское Слово» от 8 или 9 марта) известие об основании Музея древнего искусства при Университете¹, для которого богатые, много стоившие коллекции слепков и оригиналов уже принесены в дар Университету радетелями «благодетельного просвещения», а город бесплатно отводит для здания обширную пустошь из-под бывшего Колымажного двора, поблизости к Университету (средства на построение здания также уже есть, и тоже пожертвованные). Не оскудевает «рука дающего» в Москве, а ум просвещенный умеет и избрать предмет, достойный жертвы. Вот, однако же, чуть-чуть заметный недостаток, который так хотелось бы удалить от одной из благороднейших и обильнейших жертв. Три года назад, не без восхищения оглядывая на Девичьем Поле новые Университетские клиники — буквально целый городок — и читая вделанные в стены зданий имена жертвовательниц и жертвователей, пишущий строки эти был смущен и даже расстроен некоторым внешним обстоятельством: беловатые, огромные здания больниц, частью с высокими трубами (очевидно, для вытяжки воздуха), имеют вид неопределенных фабрик, и нет символов, знаков, из которых прохожий, особенно если он безграмотен, узнал бы смысл и назначение городка... Некоторая прерванность, неполнота идеи, здесь так реально и

¹ Об этом музее и истории возникновения мысли о нем, а также о первых на него пожертвованиях, была прекрасная статья почтенного профессора Московского университета, И. В. Цветаева, в одной из книжек «Русского Обозрения» (Март. 1894).

прекрасно воплотившейся, отзывалась невольною болью в уме, и тем сильнее, чем этот ум радостнее сливался с благим и прямо великим делом. Ведь если бы не было христианства — не было бы и всех этих жертв: древний языческий мир не знал госпиталей, больниц, богаделен, не по недостатку в нем способов благотворить, но по отсутствию самой идеи благотворения, призрения человека человеком, поддержки немощного сильным. «Носите тяготы друг друга, и так исполните закон Христов» — это не правило Цицерона и Сенеки, это завет Евангелия. Итак, в основе дела не Алексеевы, не Морозовы, не Боткины, не Мамонтовы — жертвователи; жертвователь для страдающего и нуждающегося человечества общий есть Христос, люди же суть орудия посредства. Если человек благодарен, если он понимает это, — он это должен выразить. Стыдно, неприлично для Университета, что, получив столь щедрые дары без всякого со своей стороны усилия, он не догадался высказать благодарения первому их Виновнику тем простым способом, каким выражает эхо движение сердца всюду и уже девять веков русский народ — воздвижением образа и перед ним неугасимой лампады, например, над главными воротами, ведущими в больничный двор; и, далее — образов святителей, в память коих жертвователи получили имена свои, также с неугасимыми перед ними лампадами; эти образа могли бы быть вделаны в стены отдельных больничных корпусов. Учреждения, где все изошло из христианского духа, должны быть обвеяны христианским духом, в частности — его эмблемами, его знаками. Не знаем, есть ли при клиниках церковь 1; дурно, что нет правила всякого больного, в клиники принимаемого, на случай внезапной кончины² — приобщать св. Тайн. Надеемся, что муж чести и закона, ныне стоящий на страже попечительства над Московским учебным округом и его университетом, оценит, конечно, лучше и яснее, чем мы это сумели бы выразить, необходимость всего указанного, и найдет способы восполнить недостающее, повторяем — около жертвы, составляющей гордость и честь России...

¹ И, кстати, не можем не заметить, конечно, вне всякого отношения к московским клиникам, что если найдено возможным допустить на пространстве России соединение дома молитвы с домом учения в так называемой «церкви-школе», то не только допустимо, но даже требуется всеми заветами Спасителя допущение «церкви-больницы», «церкви-богалельни».

² Пишущему известен случай внезапной смерти (от паралича или от разрыва сердца) пациента в новых университетских клиниках, имевший место 2 года тому назад. Родные внезапно умершего, жившие в далекой провинции и вовсе не знавшие о существовании у него болезни сердца — не роптали на смерть, в которой Бог волен; но был сильный ропот на недостаток правила причащать всех при приеме в больницу и на то, что он человеческой небрежности человек умер без покаяния.

Еще несколько слов о давнишней печали наших университетов, — и да простит великодушный читатель множество лишних слов, здесь мною допущенных и к предмету статьи прямо не относящихся. Эта печаль — неразвитость историко-филологических факультетов наших. Устало сердце ожидать недостающих кафедр в них, и, очевидно, ведомство народного просвещения, правда, обремененное чрезмерностью административных забот, вовсе не имеет способов следить за новыми обширными науками, возникшими и возникающими на Западе, которые остаются как бы скрытыми от нашего учащегося юношества. Поразительны открытия, делаемые в области ассиро-вавилонской культуры; толпы ученых изучают тексты на глиняных дощечках и цилиндрах, сохранившихся почти чудесным образом в похороненных, — навсегда, казалось, — под песком пустыни — Ниневии и Вавилоне. Рассказы библейские (например, о потоплении земли), только с другими именами, с другими числовыми данными, но с тем же точно содержанием, как это записано у Моисея, читаются в надписях этих городов, вовсе не знавших Пятикнижия. Самая идея воплощения Сына Божия, идея искупления мира Его кровью — факт, совершившийся только две тысячи лет назад — в иносказаниях совершенно ясных читается на глиняных цилиндрах, исписанных рукою человека четыре тысячи лет назад, ранее пророков, царей, судей израилевых: поразительный след Откровения, павшего не на надлежащую почву, заглохшего, забытого, и которое вновь дано было Богом другим народам, умеющим внимать. Как поразительно, какие открывает это горизонты для мысли, какое здесь убеждение для душ сомневающихся, для сердец слабых, которых у нас так много! Но все это — не для нас... Зачем, однако, говорю я о древнем Востоке, колыбели человечества и нашей колыбели — этнографической, религиозной? Уже с начала нашего века, и даже раньше, после трудов Нибура и Винкельмана, история греко-римская есть строгая, замкнутая в себе наука; ее источники, ее литература, объяснения ее неисчерпаемы. Думать, что она представлена в наших университетах кафедрой «всеобщей истории», имеющею главным предметом своим христианский мир: средние века, реформацию, гуманизм, революцию, всю эту сложную сеть духовных и политических отношений новой Европы — значит питать наивную мечту, недостойную ума сериозного и образованного. Ибо, конечно, ни Нибур не был Леопольдом Ранке, ни Ранке-Нибуром, и если бы их насильственно соединили в одном лице, с силами естественно ограниченными, человечество не имело бы как Ранке, так и Нибура, как не имеет их и наша бедная историческая наука, скомканная в одну кафедру. Итак, от нашего потомства скрыт Восток; греко-римская история — вырвана из науки нашей, из университетов

наших, как предмет самостоятельного изучения, а не компилятивного только изложения. Чего же недостает для этого? Малоспособен ли русский ум? Недостает *средств* для основания новых кафедр... Тайна успехов науки, как и всякого, впрочем, дела лежит в его развитии, в его ветвлении, в силе безраздельного внимания, которое долгие годы, целую человеческую жизнь устремляется на важный предмет, от которого его не отвлекает никакая забота. Мы уже упомянули и объяснили, что ни времени, ни досуга посвятить себя этой части просветительных забот — нет у министерства; нет, и бесполезно об этом скорбеть, думать, размышлять, томиться; нужно — *толода* почва, ожидающая *благого* творения души свободной...

Мы говорим это в той мысли, что в доброй России, по аналогии прежних лет, по подобию прежних людей, есть и теперь умы, готовые *начать* подвиг и в размышлении ищущие, где точка самая нужная, куда бы павшее зерно — принесло наилучший плод...

В Розанов

Сканирование, распознавание, вычитка и оформление выполнены коллективом сайта http://varvarin.ru

¹ До чего, напротив, даже без всяких средств, он рвется к этим новым знаниям, можно судить по тому, что именно в Москве, если не ошибаюсь, г. Никольским изучен язык клинообразных надписей Ассиро-Вавилонии, и этот ученый, без кафедры и лишь с учениками-любителями, переводит и объясняет древние тексты, издающиеся в подлиннике обществом ученых при Британском музее; так было, по крайней мере, несколько лет тому назад.